

свойственной силе и огромности, раздвинулась опять до Немана. Области ее сделались пространым гробом неисчислимым врагам. Русский, спаситель земли своей, пожал лавры на снегах ее и развернул знамена свои на чужих пределах (с. 106–107).

Время и пространство миновали критическую точку, и мировой порядок был восстановлен.

С другой стороны, начало нового года и перемещение автора за пределы России обозначают новый виток сюжета «Писем русского офицера», связанный с Заграничными походами русской армии в 1813–1814 гг. Как обогащается далее художественный образ мира, какие новые смыслы вкладывает Ф. Н. Глинка в свое повествование — предмет дальнейшего исследования.

Е. Е. Приказчикова

Изображение человека в военной мемуаристике наполеоновской эпохи: литературно-эстетическая традиция и искушение «правдой голого факта»

Рассматриваются принципы изображения человека в автодокументальных текстах наполеоновской эпохи. На основе анализа целого ряда мемуарных источников, как русских, так и французских, данные принципы исследуются как с точки зрения влияния на них господствующих литературных направлений конца XVIII — первой трети XIX в., так и в соответствии с основными чертами культурно-исторического менталитета людей наполеоновской эпохи во взаимодействии с мемуарной правдой голого факта.

Ключевые слова: мемуаристика; Наполеоновская эпоха; правда голого факта; культурно-исторический менталитет

Мемуарная литература, в том числе военная мемуаристика, появляется в России в XVIII столетии. Ее развитие связано с усилением личностного начала в литературе, являющегося основным

структурообразующим принципом мемуарного произведения. В XVIII в. автодокументальную литературу с полным основанием можно было назвать «альтернативной литературой» (термин Г. Гачева) по отношению к литературе художественной. Так, если сравнить «Записки князя Юрия Владимировича Долгорукова», активного участника Чесменского сражения 1770 г., с поэмой М. Хераскова «Чесмесский бой», то легко заметить принципиальное различие авторских подходов в изображении ее основных героев с русской стороны, братьев Орловых, Алексея и Федора. У Хераскова «екатерининские орлы» являются *alter ego* античных богов. Например, А. Орлов выступает в образе бога Марса:

Является вдали нам Марсово лице,
Конечно, то Орлов? Он мнится мне в венце <...>
О вас известен свет, о храбрые Орловы¹.

У Долгорукого «новые Тесеи и Сципионы» поэмы Хераскова изображены совсем в ином свете, далеком от парадной героики. Так, из записок Ю. Долгорукова становится ясно, что во время сражения граф Федор Орлов и адмирал Грейг при первой опасности ручного боя, т. е. абордажа, «...сели в шлюпку и погребли на фрегаты, стоящие в отдалении от флота»². Когда же А. Орлов вместе с мемуаристом поехали отыскивать графа Федора, то «нашли... Орлова — в одной руке шпага, а в другой — ложка с яичницей, адмирала с превеликим на груди образом (и) большая рюмка водки в руках»³.

Подобная правда мемуарного факта уравновешивала «пиндарический восторг» художественной словесности XVIII столетия. Однако нельзя забывать, что практически все мемуарные тексты XVIII в. фактически «писались в стол», не предназначались для публикации. Например, «Записки» Ю. Долгорукого впервые

¹ Херасков М. Чесмесский бой // Херасков М. М. Избр. произв. Л., 1961. С. 150.

² Долгоруков Ю. В. Записки князя Юрия Владимировича Долгорукова, 1740–1830 // Рус. старина, 1889. Т. 63, № 9. С. 498.

³ Там же. С. 499.

увидели свет в журнале «Русская старина» в 1887 г., через 117 лет после Чесменской битвы.

Ситуация полностью изменяется в эпоху Наполеоновских войн, когда большое количество мемуарных текстов, в том числе и «ретроспективно обработанных дневников» вроде «Писем русского офицера» Ф. Н. Глинки, становятся достоянием гласности. Они печатаются в журналах тех лет — «Русском вестнике», «Сыне Отечества», «Военном журнале», «Русском инвалиде» — и выходят отдельными изданиями, превращаясь в объект литературно-эстетической критики.

В результате сразу возникла проблема связи изображения героев мемуарной литературы с господствующими литературно-эстетическими направлениями эпохи — классицизмом и сентиментализмом. В случае если авторы мемуаров были профессиональными литераторами, как Ф. Н. Глинка или И. И. Лажечников, эта связь становилась наиболее очевидной. Так, в «Письмах русского офицера» (1808–1816) Ф. Глинки или «Походных записках русского офицера» (1820) И. Лажечникова господствует следующий принцип: предмет изображения диктует стиль и манеру повествования. В соответствии с этим принципом, если в поле зрения мемуариста попадает «чувствительная» тема, вполне естественно выглядит обращение к сентименталистской традиции. Если мемуарист повествует о «высоком» предмете, то в записках начинает преобладать классицистическое начало. Если предметом изображения в мемуарах становятся пороки общества, например галломания русского дворянства, то на помощь автору-мемуаристу приходят традиции русской просветительской сатиры XVIII в. Как следствие, в текстах происходит своеобразное чередование трех ролевых масок образа автора, которым соответствуют три стиля повествования: 1) образ-маска чувствительного путешественника, одетого в военный мундир; 2) образ гражданина-патриота и, наконец, 3) ролевая модель поведения сатирика-бытописателя, высмеивающего пороки общества.

Так, находясь в русле классицистической поэтики, Глинка называет Наполеона «извергом», «новым Навуходоносором»,

«Катилиной», «Батыем», французов — «злодеями», русских — «неустрасимыми россиянами» и «благородными защитниками Отечества». Самым распространенным чувством в дворянском обществе и в народе является чувство беспредельной любви к Отечеству — «чувство благородное, чувство освященное»⁴ — и желание спасти его любой ценой.

Напротив, в образе чувствительного путешественника автор отдыхает «под цветущими липами у светлого ручья, вспоминая о прошлых тяготах и заботах, как «Улисс в своем странствовании по морям», замечая при этом, что «свист полевых птиц после свиста пухля кажется райским пением»⁵.

В роли беспощадного сатирика Глинка обличает испорченные нравы российского дворянства, пристрастившегося к безудержной роскоши и неистребимой даже в условиях войны 1812 г. галломании, высмеивает ветреность и непостоянство французского народа, по очереди предававшего М. Робеспьера, Директорию, Наполеона.

В результате подобного подхода к изображению действительности «Письма» начинают представлять собой мозаику различных стилевых традиций — от классицизма до сентиментализма включительно. Органический синтез текста обеспечивается единством личностного биографического начала автора-мемуариста, несмотря на множество его стилевых лиц-масок. В случае с Глинкой этим реальным биографическим лицом является «бедный поручик», у которого «все свидетельства и все аттестаты остались в руках неприятеля... и на нем ничего более не было, кроме синей куртки, сделанной из бывшего синего фрака, у которой от кочевой жизни при полевых огнях полы обгорели»⁶.

С 20-х гг. XIX в. на стиль мемуарных произведений начинает оказывать влияние эстетическая система романтизма. На смену ролевому поведению автора, зависящему от объекта повествования

⁴ Глинка Ф. Письма русского офицера. М., 1990. С. 63.

⁵ Там же. С. 192.

⁶ Там же. С. 84.

в тексте, приходит традиция романтического моделирования образа автора и окружающей его действительности. Особенно отчетливо эта традиция проявляет себя в «Военных записках» поэта-партизана Д. Давыдова.

Моделирование начинается с эпиграфа произведения, в качестве которого Давыдов берет слова Вольтера: *Ma vie est combat...* («Моя жизнь — сражение»). В соответствии с этой задачей Давыдов строит сюжетно-композиционную структуру своих мемуаров. Они начинаются встречей с великим Суворовым, благословившим его выиграть три сражения, и кончаются кампаниями 1812–1813 гг., куда он, по его собственным словам, навсегда «врубил» свое имя. Записки построены таким образом, что в них освещаются самые «выигрышные», самые поэтические страницы его биографии, одухотворенные «честолюбием изящным, поэтическим». В соответствии с этой установкой выдерживаются самохарактеристики героя мемуарно-автобиографической прозы.

Вот он, молодой офицер лейб-гвардии гусарского полка, в Петербурге 1806 г., всеми правдами и неправдами стремящийся попасть в действующую армию. Когда эти просьбы увенчались успехом, «сердце мое обливалося радостью, чад бродил в голове моей», «не кровь, но огонь пробегал по всем моим жилам, и голова была вверх дном»⁷.

Вот автор записок — уже адъютант П. Багратиона в сражении при Прейсиш-Эйлау — атакует французских фланкеров вместе с казачьей лавой: «Я помню, что и моя сабля поела живого мяса: благородный пар крови струился по ее лезвию»⁸.

Вот он партизанский начальник 1812 г., в черном чекмене, в красных шароварах, с круглою курчавою бородой, с черкесской шашкою на бедре, как корсар, крейсирует по тылам французской армии в то время, «как все улыбалось моему воображению, всегда быстро летящему навстречу всему соблазнительному для моего сердца»⁹.

⁷ Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1982. С. 45.

⁸ Там же. С. 55.

⁹ Там же. С. 172.

Романтическое моделирование дает себя знать и при характеристике других героев записок, абсолютное большинство которых представляют собой образцы «идеальных воинов», поэтических, романтически-возвышенных натур, будь то А. Суворов, Наполеон, П. Багратион или товарищи Давыдова по партизанскому отряду.

Так, Наполеон в изображении автора — «чудесный человек, этот невиданный и неслыханный полководец со времен Александра Великого и Юлия Кесаря»¹⁰, «пылавший лучами ослепительного ореола дивной, почти баснословной жизни»¹¹.

Однако помимо влияния на мемуарный текст господствующих литературно-эстетических направлений, отразившихся в изображении человека, существовал и обратный процесс. Через мемуарные источники, через исторические анекдоты, которые не только часто включались в текст записок, но и могли существовать в качестве вполне самостоятельного жанра, создавая циклы «нарративных» мемуаров (термин И. Фраймана), читательское сознание начала XIX в. знакомилось с так называемой правдой голого факта, правдой неприукрашенной действительности. Эта правда касалась изображения того, что Д. Давыдов поэтически охарактеризовал как «ужасы войны кровавой»: натуралистическое изображение «жестокостей войны», иногда включающие даже сцены каннибализма при описании отступления армии Наполеона.

Данная правда голого факта не могла не вступать в конфликт с господствующими литературно-эстетическими традициями русской словесности. Разумеется, подобные сцены встречались и у Ф. Глинки, и И. Лажечникова. Например, Лажечников в записи от 10 ноября дает зарисовку с натуры, изображающую бедствия французов, взятых в плен под Красным, в городе Рославле: «Гляжу вокруг себя со страхом и вижу людей в самых мучительных положениях. Один в женской изодранной одежде, ползает на коленях и локтях... третий грызет лошадиную ногу; четвертый

¹⁰ Давыдов Д. В. Военные записки. С. 95.

¹¹ Там же. С. 94.

с обезображенным лицом вылезает из-под развалин»¹². Однако этот «натуралистический» (с точки зрения литературной традиции эпохи) материал находится в окружении материала литературно переосмысленного и в соответствии с этим приобретает дополнительные эстетические функции. Так, описание бедствий французов в Рославле нужно Лажечникову для того, чтобы, во-первых, подчеркнуть сострадательное человеколюбие хозяина квартиры мемуариста, русского купца, который, «повинуясь природному чувству сострадания и помня, что враг перестает быть таковым, когда обезоружен и слаб, делал добро всякому, кто только требовал его помощи»¹³, а во-вторых, показать, что наказание, постигшее французов, вполне естественно для «изображения человека, истощившего милости Творца и, наконец, всем гневом его постигнутого»¹⁴.

Совсем другое дело, если правда голого факта представляет собой своеобразную эстетическую и этическую концепцию автора, который тем самым полемизирует с устоявшимися в художественной литературе традициями изображения войны.

В русской мемуарной традиции подобная «правда», характеризующая ужасы войны, встречается в «Записках» Н. Муравьева, «Записках» В. Левенштерна, «Записках» А. Ланжерона, в «Воспоминаниях» А. Муравьева, который свидетельствовал: «Всех произведенных с обеих сторон ужасов описать невозможно. Люди сделались хуже лютых зверей и губили друг друга с неслыханной жестокостью»¹⁵.

Однако наиболее отчетливо новая тенденция проявляет себя в «Записках» Н. Муравьева, бывшего одним из создателей Священной артилии, ставшей впоследствии основой тайного общества — Союза спасения. Муравьев создал свои записки на основе

¹² *Лажечников И. И.* Походные записки русского офицера 1812, 1813, 1814, 1815 годов. М., 1836. С. 46.

¹³ Там же. С. 44.

¹⁴ Там же. С. 45.

¹⁵ *Муравьев А. Н.* Что видел, чувствовал и слышал // России двинулись сыны : записки об Отечественной войне 1812 года ее участников и очевидцев. М., 1988. С. 294.

ранних дневниковых записей в 1818 г. (публиковались в «Русском архиве» с 1885 по 1894 г.).

Трудно себе представить, чтобы европейски образованный, обладающий бесспорным литературным талантом офицер, страстный поклонник Ж.-Ж. Руссо, в чем он откровенно признается в своих «Записках», не мог бы при желании создать мемуарное произведение с условным сентиментальным героем и обилием чувствительных эпизодов, как это делали его молодые современники-литераторы вроде Ф. Глинки или И. Лажечникова.

Тем не менее Н. Муравьев отказывается от условного литературного героя, героя-маски, заменив ее полностью автобиографическим образом мемуариста — юного офицера гвардейского Семеновского полка. В его «Записках» исчезает деление действительности на действительность, достойную быть запечатленной на бумаге, и «низкий быт», который обычно прятали от посторонних глаз. Напротив, Муравьев, не стыдясь, передает самые прозаические факты жизни. Вот братья Муравьевы, Николай, Александр, Михаил, при отступлении русской армии к Москве, в «прожженных толстых шинелях и худых сапогах», «обносились платьем и обувью и не имели достаточно денег, чтобы заново обшиться»¹⁶, так что у них завелись вши. У самого автора «открылась цинготная болезнь, но не на деснах, а на ногах»¹⁷. Определенная тенденция к дегероизации заметна и в изображении других героев его «Записок». Так, «вихорь-атаман», по определению В. Жуковского, М. Платов у Муравьева оказывается пьяным в день Бородинского сражения. Характеризуя командира Харьковского драгунского полка Д. Юзефовича, Муравьев пишет: «Юзефович был человек умный и образованный, но говорили, что он любил пограбить»¹⁸.

Можно сказать, что в «Записках» Муравьева сюжет впервые начинает диктоваться самой жизнью, а не априорно существующим авторским замыслом, как это было зачастую в «Письмах»

¹⁶ *Муравьев Н. Н.* Записки // Русские мемуары, 1800–1825. М., 1989. С. 94.

¹⁷ Там же. С. 94.

¹⁸ Там же. С. 138.

Ф. Глинки и «Походных записках» И. Лажечникова. В лапидарных, «неукрашенных» строках мемуарного текста Муравьева отчетливо проявляется зарождение новой — реалистической — манеры русской прозы.

Для сравнения: во французской литературной традиции А. Бейль, вошедший в историю как писатель Стендаль, сделал опыт московского отступления важнейшим эстетическим фактом при оценке не только современного, но и классического искусства. В трактате «Расин и Шекспир», передающем эстетические переживания французов начала 20-х гг. XIX в., Стендаль считает своим долгом предупредить читателя, что не может восхищаться поэзией аббата Делиля, специально созданной для народа, «который при Фонтенуа, сняв шляпы, говорил английской пехоте: “Господа, стреляйте первыми”. “Требуют, чтобы такая поэзия нравилась французу, который участвовал в отступлении из Москвы!”»¹⁹.

При этом надо учитывать, что важнейшей чертой, характеризующей культурно-исторический менталитет людей наполеоновской эпохи, была ориентация человека на «законы чувствительности» как важнейшую черту исторической психологии человека. Не случайно одним из самых известных афоризмов Наполеона, обращенных к армии, был призыв «Будьте всегда добрыми и храбрыми»²⁰.

Мужество, не облагороженное чертами высокого гуманизма, носящее оттенок свирепости, неизменно подвергается резкой критике. Само собой разумеется, что чертами чувствительного человека наделяется в мемуарной литературе и Наполеон. Достаточно вспомнить гуманное отношение французского императора к русским раненым в записках Филиппа де Сегюра, польского графа Романа Солтыка или генерала Марселина де Марбо.

Эталонное чувствительное поведение требовало в идеале гуманного отношения ко всем людям, будь то неприятель или мирные жители завоеванной страны. Так, все французские

¹⁹ Стендаль. Расин и Шекспир // Стендаль. Собр. соч. : в 15 т. Т. 7. М., 1959. С. 30.

²⁰ Наполеон Бонапарт. Путь полководца. М., 2008. С. 614.

мемуаристы — Ц. Ложье, Е. Лабом, Вьене де Маренгоне, А. Монтескью-Фезензак, Делаво — с огромным сочувствием пишут о страданиях русского населения Москвы в охваченном пожаром и грабежом городе и по мере сил и возможностей стараются их облегчить.

Жестокий финал кампании 1812 г., когда тысячи людей (прежде всего французов) были обречены на смерть от холода и голода, утонули или были раздавлены в давке при березинской переправе, провоцировал неизбежный конфликт между чувствительностью как нормативным этическим каноном эпохи и правдой голого факта мемуарного текста.

Мемуаристы, как правило, переживают жесточайший нравственный кризис, испытывая нестерпимые муки совести от того, что повседневная практика этого «ужасного отступления» зачастую давала образцы далекого от идеалов чувствительности поведения, искажая благородную природу человеческой души. Даже романтичный Ц. Ложье, описывая переправу через Березину, вынужден был признать: «Надо сказать правду, что этот поход (в чем заключается весь его ужас) убил в нас все человеческие чувства и вызвал пороки, которых в нас раньше не было»²¹.

Об этом же свидетельствуют и другие мемуаристы великой армии: Л. Ф. Лежен и О. Тирион, В. де Маренгоне и М. Комб, А. Ж. Б. Бургонь и Е. Лабом.

Однако, несмотря на жестокость подобных откровений, нарушение самим автором-мемуаристом эталонного чувствительного поведения обычно рассматривается им как непростительный поступок, заслуживающий всяческого осуждения и порицания. Так, сержант А. Ж. Б. Бургонь вспоминает, как во время отступления ему самому «привелось поступить бессердечно по отношению к истинным друзьям». Бессердечие было связано с нежеланием автора мемуаров поделиться своей «добычей» (несколькими мерзлыми картошками, спрятанными в ягдташ) со своими товарищами,

²¹ *Ложье Ц.* Дневник офицера Великой Армии в 1812 году. М., 2005. С. 197.

жестокими страдающими от голода: «...с моей стороны это был эгоистический поступок, который я никогда себе не прощу!»²²

Поэтому можно сказать, что, несмотря на все ужасы отступления, на все «обесчеловечивание» человека, мемуаристы в целом не теряли своей веры в идеалы добра и гуманизма. Поэтому, искренне ужаснувшись глубине человеческого падения в дни бедствий и отчаяния, они все же сохраняют свою веру в чувствительность человеческого сердца, в «инстинкт человечности, от природы заложенный в наших сердцах»²³.

Так, тот же Бургонь, правдиво описав возмутительные случаи, в которых торжествует эгоизм и равнодушие людей (в том числе и самого мемуариста!), все же заключает: «Надо прибавить, впрочем, что хотя во время этой бедственной кампании было совершено много жестокостей, зато попадалось и немало поступков человеколюбия, делавших нам честь, — не раз случалось мне видеть, как солдаты в продолжение нескольких дней тащили на плечах раненых офицеров»²⁴. Подобные эпизоды можно найти в воспоминаниях О. Тириона, Каstellлана, Ц. Ложье.

Только в атмосфере подобного сознания могла возникнуть и воплотиться на практике гуманистическая проблематика «Капитанской дочки» или неоконченной повести «Рославлев» А. С. Пушкина, во французской словесности — «Неволи и величия солдата» А. де Виньи.

Именно этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что правда голого факта о Наполеоновских войнах в целом отвергалась литературной традицией XIX в. Вплоть до 1868 г. (Русский архив, № 12) не печатались «Рассказы из истории 1812 года», собранные А. Н. Олениным, государственным деятелем, историком, почетным членом Петербургской академии наук, директором Императорской публичной библиотеки. Среди lapидарных исторических анекдотов, составляющих сборник, было очень много свидетельств

²² Бургонь А. Ж. Б. Мемуары. М., 2003. С. 57.

²³ Грица. Мемуары// Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. Л., 1991. С. 334.

²⁴ Бургонь А. Ж. Б. Мемуары. С. 67.

жестокости со стороны неприятеля, включая убиение младенцев в Божьих храмах, «из коих вырванная внутренность послужила им к украшению» (свидетельство генерала барона Винценгероде)²⁵.

Как правило, подробное описание обоюдных зверств не попадало на страницы исторических романов М. Загоскина, И. Лажечникова, Ив. Калашникова, Р. Зотова. Хотя конкретный фактографический материал, взятый из мемуарных текстов, авторы романов использовали очень охотно. Это объяснялось тем, что подобная правда голого факта противоречила эстетическим канонам русской литературы того времени, принадлежала как бы «вторичной», низкой действительности бытия, оскорбляющей нравственные чувства читателей. Подобное отношение к правде голого факта было характерно не только для литературной ситуации 1830–1840-х гг., но и для более позднего времени. Так, Л. Н. Толстой в окончательном варианте романа «Война и мир» отказался от введения в него сцен, изображающих ужасы народной партизанской войны, ограничившись созданием колоритной и противоречивой фигуры Тихона Щербатого. Когда Н. Некрасов в 1856 г. написал стихотворение «Так служба! Сам ты в той войне...», сюжетом которого послужил рассказ генерала Павла Тучкова о том, как крестьяне-партизаны последовательно зверски убили французского офицера, его жену и детей, и напечатал его, то это вызвало взрыв возмущения литературного критика Аполлона Григорьева, назвавшего поэта «большим» человеком.

Важнейшим негативным аспектом взаимоотношений русских и французов эпохи 1812 г. было «якобинское безбожие» французов, которое обычно указывалось как одна из причин «озверения» против французов русского народа. И это касается не только ростовчинских афишек. Церковь, превращенная в конюшню генерала Гильемино, упоминающаяся в «Письмах русского офицера...» Ф. Глинки, впоследствии появится в романах М. Загоскина и Г. Данилевского как свидетельство нравственного падения неприятеля.

²⁵ *Оленин А. Н.* Рассказы из истории 1812 г. // Рус. архив. 1868. № 12. С. 1985.

Попытку преодоления этой традиции во второй половине XIX в. предпринимает Е. В. Новосильцева, публиковавшаяся под псевдонимом Т. Толычева. Можно сказать, что она была первой русской писательницей, начавшей сбор устных воспоминаний об Отечественной войне 1812 г. В 1860–1880-х гг. она посещала монастыри и церкви, общалась с отставными солдатами и их женами, купцами и церковнослужителями и записывала их рассказы о войне. В результате ей удается создать свод устных воспоминаний об Отечественной войне выходцев из простонародья. Записанные ею рассказы очевидцев под названием «Рассказы старушки о двенадцатом годе» впервые были опубликованы в журнале «Детское чтение» (1865), а впоследствии переиздавались двенадцать раз. С 1872 г. «устные рассказы» Т. Толычевой стали периодически появляться на страницах «Русского вестника». А к столетию Отечественной войны, в 1912 г., «Рассказы о двенадцатом годе, собранные Т. Толычевой» вышли отдельным изданием.

Обращает на себя внимание, что в этих устных воспоминаниях практически не встречаются сцены, в которых французы выступали бы в роли убийц и насильников, как это было в первые послевоенные годы. Напротив, в них часто фигурируют несчастные, «сердечные» французы. Они замерзают от холода в Смоленске в рассказе смоленского мещанина А. И. Сныткина, их жестоко бьют и убивают казаки в рассказах крестьянки А. Игнатъевой и солдата О. Антонова. Степенный гражданин К. Е. Шматиков из Смоленска не может простить себе как он, будучи мальчишкой, издевался над замерзшим французом («у бедного зуб на зуб не попадал») ²⁶. И во всех этих рассказах присутствует мысль о том, что эти жестокие деяния со стороны русских, крещеных людей, были противны христианскому закону, канонам православия. Так, А. Игнатъева говорит: «Как вздумаю я о нем [убитом французе], так сердце заноеет. Опять же все я помню, как французы хотели нас кашей накормить. Они добрые ребята. А что они грабили, так им и Бог простит. <...> Ведь голод не тетка. А мужик-то, что бил

²⁶ Отечественная война 1812 года глазами современников. М., 2012. С. 57.

у нас французов на селе, и года после того не прожил: его Господь наказал»²⁷. В рассказе солдата О. Антонова о казачьей расправе над французами, которых живьем сжигают в сторожке с соломенной крышей: «Вот и крещеные, а какой грех на душу взяли, что без всякой жалости истязали их, сердечных»²⁸.

Этот гуманистический религиозный дискурс создавал предпосылки для окончательного примирения двух народов. К 100-летию Отечественной войны 1812 г. на Бородинском поле, на месте штаба Наполеона, появится памятник «Мертвым великой армии» в честь всех французских воинов, павших в этом сражении.

Что касается военной мемуарной литературы в целом, то признание эстетической ценности фактографического материала стало предпосылкой создания нового стиля художественной прозы. Этот стиль очень много взял из «свободного» мемуарного стиля повествования и позволил Л. Н. Толстому уже в «Севастопольских рассказах» отказаться от изображения войны и человека на войне исключительно в «правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабанным боем, с развевающимися знаменами и гарцующими генералами»²⁹. Правда голого факта «альтернативной литературы» превратилась в новое слово не только русской, но и европейской словесности.

²⁷ Отечественная война 1812 года глазами современников. С. 50.

²⁸ Там же. С. 60.

²⁹ Толстой Л. Н. Севастопольские рассказы. Симферополь, 1978. С. 21.